

Дэвид Копперфильд

Про книгу

С раннего детства жизнь Дэвида была борьбой. Смерть отца, ненависть отчима, а после — гнет учительской критики и клеймо трудного ребенка. Казалось, ничего хорошего Дэвида не ждет, его будущее предопределено. Но мальчик не желает принимать условия чужой игры. Он способен сам творить свою судьбу. Дэвид решается на безумие: бегство в Дувр, к двоюродной бабушке, мисс Бетси Тротвуд. Ему предстоят далекий путь и нелегкие испытания силы воли и характера. Хрупкий ребенок в большом, холодном и жестоком мире. И каждую иглу, впивающуюся в его тело, он ощущает наравне со взрослыми...

Марлоз Диккенс

ДЭВИД КОШПЕРФИЛЬД





Чарльз Диккенс

ДЭВИД КОППЕРФИЛД

Роман

ХАРЬКОВ  КЛУБ
2020  СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА



Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2020

ISBN 978-617-12-8070-0 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:



Перевод с английского *Александры Кублицкой-Пиоттук*

Дизайнер обложки *Оксана Волковская*

З раннього дитинства життя Девіда була боротьбою. Смерть батька, ненависть вітчима, а після — гніт учительської критики й клеймо важкої дитини. Здавалося, нічого хорошого на Девіда не чекає, його майбутнє визначене. Та хлопець не бажає погоджуватися на умови чужої гри. Він здатний сам творити свою долю. Девід вирішується на безумство: втечу в Дувр, до двоюрідної бабусі, міс Бетсі Тротвуд. Попереду — далекий шлях і нелегкі випробування сили волі й характеру. Беззахисна дитина у великому, холодному й жорстокому світі. І кожна голку, що встромляється в його тіло, він відчуває нарівні з дорослими...

Диккенс Ч.

Д45 Дэвид Копперфильд : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ.
А. Кублицкой-Пиоттух.— Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. — 944 с.

ISBN 978-617-12-7960-5

С раннего детства жизнь Дэвида была борьбой. Смерть отца, ненависть отчима, а после — гнет учительской критики и клеймо трудного ребенка. Казалось, ничего хорошего Дэвида не ждет, его будущее предопределено. Но мальчик не желает принимать условия чужой игры. Он способен сам творить свою судьбу. Дэвид решается на безумие: бегство в Дувр, к двоюродной бабушке, мисс Бетси Тротвуд. Ему предстоит далекий путь и нелегкие испытания силы воли и характера. Хрупкий ребенок в большом, холодном и жестоком мире. И каждую иглу, впивающуюся в его тело, он ощущает наравне со взрослыми...

УДК 821.111

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2020

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2020

Глава I. Я появляюсь на свет

В самом начале своего жизнеописания я должен упомянуть о том, что родился я в пятницу, в полночь. Замечено было, что мой первый крик раздался, когда начали бить часы. Принимая во внимание день и час моего появления на свет, сиделка и несколько мудрых соседок, живо интересовавшихся моей особой еще за много месяцев до возможного личного знакомства со мной, объявили, что мне суждено быть несчастным в жизни. Они были убеждены, что такова неизбежно судьба всех злосчастных младенцев обоего пола, родившихся в пятницу, в полночь.

Мне нет надобности говорить здесь что-либо по этому поводу, ибо история моей жизни сама покажет лучше всего, оправдалось ли это предсказание или оно было ложным.

Родился я в Блондерстоне, в графстве Суффолк, после смерти моего отца, глаза которого закрылись для земного света за шесть месяцев до того, как мои открылись. И теперь даже, когда я думаю об этом, мне кажется странным, что отец так никогда и не видел меня. И еще более странны мои смутные воспоминания раннего детства, связанные с отцовским белым надгробным камнем на нашем деревенском кладбище: я всегда чувствовал какую-то невыразимую жалость к этому камню, лежащему одиноко во мраке ночи, в то время как в нашей маленькой гостиной было так светло и тепло от зажженных свечей и горящего камина. Порой мне казалось даже жестоким, что двери нашего дома накрепко запираются, как будто именно от этого камня.

Самой важной персоной в нашем роду была тетка моего отца, стало быть, моя двоюродная бабушка, о которой вскоре мне придется немало говорить здесь. Тетка, мисс Тротвуд, или мисс Бетси (как звала ее моя матушка в те редкие минуты, когда ей удавалось, преодолевая свой страх, упоминать об этой грозной особе), вышла замуж за человека моложе себя, красавца, не оправдавшего, однако, поговорки: «Красив тот, кто красиво поступает». Его сильно подозревали в том, что иногда он бил мисс Бетси, а однажды, в пылу спора по поводу денежных дел, он вдруг дошел до того, что едва не выбросил ее из окна второго этажа. Такое красноречивое доказательство несходства характеров побудило мисс Бетси откупиться от своего муженька и получить

развод по взаимному соглашению. С добытым таким образом капиталом бывший супруг мисс Бетси отправился в Индию, и там, по нелепой семейной легенде, его однажды видели едущим на слоне в обществе павиана. Как бы то ни было, десять лет спустя из Индии дошли слухи о его смерти.

Какое впечатление произвели эти слухи на тетушку, осталось для всех тайной, ибо она немедленно после развода приняла снова свое девичье имя, купила себе домик где-то далеко, в деревушке на берегу моря, поселилась там одна со служанкой и с тех пор вела жизнь настоящей отшельницы.

Мне кажется, что отец мой был когда-то любимцем тетки, но он смертельно оскорбил ее своей женитьбой на «восковой кукле», как мисс Бетси называла мою матушку. Она никогда не видела моей матери, но знала, что ей нет и двадцати лет. Женившись, отец мой больше никогда с теткой не встречался. Он был вдвое старше матушки и здоровья далеко не крепкого. Умер отец год спустя после свадьбы и, как я уже упоминал, за шесть месяцев до моего рождения.

Таково было положение вещей в важную для меня, чреватую последствиями пятницу, после полудня. Матушка сидела у камина; ей нездоровилось, и настроение у нее было очень подавленное. Глядя сквозь слезы на огонь, она в глубоком унынии думала о себе и о крошечной неведомой сиротке, которую мир, видимо, собирался встретить не очень-то гостеприимно.

Итак, в ясный ветреный мартовский день матушка сидела у камина, со страхом и тоской думая о том, удастся ли ей выйти живой из предстоящего испытания, как вдруг, утирая слезы, она увидела в окно идущую через сад незнакомую леди.

Матушка еще раз взглянула на леди, и верное предчувствие сказало ей, что это мисс Бетси. Заходящее солнце из-за садовой ограды озаряло своими лучами незнакомку, направлявшуюся к дверям дома, и шла она с таким самоуверенным видом, с такой суровой решимостью во взоре, которых не могло быть ни у кого, кроме мисс Бетси. Приблизившись к дому, тетушка представила еще одно доказательство того, что это была именно она: мой отец часто говаривал, что тетка его редко поступает, как обыкновенные смертные. И на этот раз, вместо того чтобы позвонить, она подошла к окну и стала глядеть в него, прижав так сильно нос к стеклу, что, по словам

моей бедной матушки, он у нее моментально сплюснулся и совсем побелел.

Появление ее чрезвычайно напугало мою мать, и я всегда был убежден, что именно мисс Бетси я обязан тем, что родился в пятницу. Взволнованная матушка вскочила со своего кресла и забилась позади него в угол. Мисс Бетси, медленно и вопросительно вращая глазами, подобно турку на голландских часах, обводила ими комнату; наконец взор ее остановился на матушке, и она, нахмурившись, повелительным жестом приказала ей открыть дверь. Та повиновалась.

— Вы, полагаю, миссис Копперфильд? — спросила мисс Бетси.

— Да, — пролепетала матушка.

— Мисс Тротвуд, — представилась гостья. — Надеюсь, вы слышали о ней?

Матушка ответила, что имела это удовольствие. Но у нее было неприятное сознание, что это «великое» удовольствие отнюдь не отражается на ее лице.

— Так вот, теперь вы видите ее перед собою, — заявила мисс Бетси.

Матушка поклонилась и попросила ее войти. Они прошли в маленькую гостиную, откуда только что вышла матушка, ибо в парадной гостиной не был затоплен камин, вернее сказать, он не топился с самых похорон отца.

Когда обе они сели, а мисс Бетси все не начинала говорить, матушка, после тщетных усилий взять себя в руки, расплакалась.

— Ну-ну-ну, — торопливо сказала мисс Бетси. — Оставьте это! Полноте! Полноте же!

Однако матушка не могла справиться с собой, и слезы продолжали литься, пока она не выплакалась.

— Снимите свой чепчик, дитя мое, — вдруг проговорила мисс Бетси, — дайте-ка я погляжу на вас.

Матушка была слишком перепугана, чтобы не покориться этому странному требованию, и тотчас же сняла чепчик, при этом она так нервничала, что ее густые, чудесные волосы совсем распустились.

— Боже мой! — воскликнула мисс Бетси. — Да вы совсем ребенок!

Несомненно, матушка даже для своих лет была необычайно моложава. Бедняжка опустила голову, словно в этом была ее вина, и, рыдая, призналась, что, быть может, она слишком молода и для вдовы и для матери, если только, став матерью, она останется в живых.

Наступило снова молчание, во время которого матушке почудилось, что мисс Бетси коснулась ее волос, и прикосновение это было как будто ласково. Матушка с робкой надеждой взглянула на тетку мужа, но та, приподняв немного платье, поставила ноги на решетку камина, охватила руками колена и, нахмурившись, уставилась на пылающий огонь...

— Скажите, ради бога, — вдруг неожиданно заговорила тетушка, — почему это «Грачи»?

— Вы говорите о нашей усадьбе? — спросила матушка.

— Почему именно «Грачи»? — настаивала мисс Бетси. — Конечно, вы назвали бы свою усадьбу как-нибудь иначе, будь хотя б у одного из вас на грош здравого смысла.

— Название это было дано мистером Копперфильдом, — ответила матушка. — Когда он купил эту усадьбу, ему нравилось, что кругом много грачиных гнезд.

В этот момент вечерний ветер так загудел среди старых вязов, что и матушка и мисс Бетси невольно поглядели в ту сторону. Вязы склонились друг к другу, словно великаны, перешептывающиеся между собой; затихнув на несколько секунд, они снова яростно зашевелились, размахивая своими косматыми ручищами, как бы взволнованные только что полученными ужасными вестями. А старые грачиные гнезда, выдавшие на своем веку немало непогод, раскачивались на верхних ветвях, подобно обломкам корабля на бурных морских волнах.

— Но где же птицы? — спросила мисс Бетси.

— Что? — рассеянно откликнулась матушка.

— Грачи... что с ними случилось? — допрашивала мисс Бетси.

— Да за все время нашей жизни их вовсе и не было здесь, — ответила матушка. — Мы думали... мистер Копперфильд думал, что в этой усадьбе множество грачей, но, видимо, гнезда слишком стары и грачи давно покинули их.

— Дэвид Копперфильд весь тут, с головы до ног! — воскликнула мисс Бетси. — Назвать усадьбу «Грачи», когда и близко-то нет и единого грача, только потому, что он видел грачиные гнезда.

— Мистер Копперфильд умер, — дрожащим голосом сказала матушка, — и если вы осмелитесь дурно говорить о нем...

Тут у матушки, мне кажется, промелькнуло желание броситься на тетушку, которая без труда могла бы справиться с нею одной рукой, даже будь бедняжка и в лучшем состоянии, чем в этот вечер. Но не успела матушка подняться, как порыв этот мгновенно угас. Она смиренно опустила в кресло и лишилась чувств. Когда матушка пришла в себя, или, вернее, когда ее привела в чувство мисс Бетси, она увидела тетушку стоящей у окна.

Сумерки уже сменились ночной тьмой, и обе женщины видели друг друга только благодаря горевшему камину.

— Ну, хорошо, — проговорила мисс Бетси, возвращаясь на свое место, словно она на секунду только подходила взглянуть в окно. — Когда же вы ожидаете?

— Я вся дрожу, — промолвила чуть слышно матушка. — Уж не знаю, что со мной... Наверно, я умру...

— Нет! Нет! — отрезала мисс Бетси. — Выпейте чаю.

— Ах, боже мой, боже мой! Вы думаете, что это действительно поможет мне? — пролепетала матушка.

— Конечно, поможет. Ведь все это у вас одно воображение... Как звать вашу девочку?

— Но я еще не знаю, мэм, будет ли это девочка, — простодушно сказала матушка.

— Настоящий ребенок! Ведь я же не об этом говорю! — нетерпеливо воскликнула мисс Бетси. — Я имела в виду вашу служанку.

— Ее зовут Пиготти, — пояснила матушка.

— Пиготти?!¹ — повторила с каким-то негодованием мисс Бетси. — Неужели, дитя мое, вы хотите уверить меня, что какое-либо существо на свете могло при крещении получить имя Пиготти?

— Это ее фамилия, — слабым голосом отозвалась матушка. — Мистер Копперфильд звал ее по фамилии, потому что у нас с нею одинаковое имя.

— Эй, Пиготти! — крикнула мисс Бетси, распахивая дверь гостиной. — Чаю! Вашей хозяйке что-то нездоровится. Только живей!

Отдав это приказание таким тоном, словно она повелевала в этом доме с самого его основания, мисс Бетси выглянула в дверь, чтобы убедиться, идет ли Пиготти, — и, увидев, что та, пораженная незнакомым голосом, уже шла по коридору с зажженной свечой,

захлопнула дверь и уселась по-прежнему: приподняла платье, поставила ноги на решетку камина и охватила колено руками.

— Вы говорите, что, быть может, это будет девочка, — начала мисс Бетси, — а я так не сомневаюсь, что будет именно девочка, предчувствую это. И вот, дитя мое, с момента появления этой девочки...

— А может быть, и мальчика, — осмелилась заметить матушка.

— Говорю вам; у меня есть предчувствие, что это должна быть девочка. Не противоречьте!.. С момента появления этой девочки я намерена, дитя мое, стать ее другом. Хочу быть ее крестной матерью и прошу вас назвать ее Бетси Тротвуд-Копперфильд. У этой Бетси Тротвуд не должно быть ошибок в жизни. Над ее, бедняжки, чувствами не будут уж издеваться. Ей нужно дать хорошее воспитание, ее надо будет хорошенько предостеречь от того, чтобы она безрассудно не доверяла там, где не следует доверять. Уж это будет моя забота.

После каждой фразы мисс Бетси покачивала головой, словно припоминая свои собственные старые обиды и, видимо, с трудом удерживаясь от желания сказать о них больше. Так, по крайней мере, показалось матушке при слабом свете мерцающего камина.

Помолчав немного, мисс Бетси мало-помалу перестала качать головой и вдруг спросила:

— Дитя мое, был ли добр к вам Дэвид? Дружно вы жили с ним?

— Мы были очень счастливы, — ответила матушка, — мистер Копперфильд был даже слишком добр ко мне.

— Наверно, он избаловал вас? — допрашивала тетушка.

— Боюсь, что да: он избаловал меня, и теперь, снова оставшись одна в этом суровом мире, снова предоставленная самой себе, я это очень чувствую, — рыдая, промолвила матушка.

— Ну, не плачьте же! Вы не подходили друг к другу, и вообще едва ли возможно это на свете, — вот почему я и задала вам такой вопрос. Вы ведь были сирота, не правда ли?

— Да.

— И гувернантка?

— Я служила бонной в семье, где бывал мистер Копперфильд. Он мне выказывал много доброты и внимания и в конце концов сделал мне предложение. Я дала свое согласие, и мы повенчались, — простодушно рассказала матушка.

— Ах, бедная крошка! — задумчиво проговорила тетушка, продолжая, нахмурившись, смотреть в огонь. — А умеете ли вы что-нибудь делать?

— Простите, мэ, я вас не понимаю, — пробормотала матушка.

— Ну, например, вести хозяйство.

— Боюсь, что я мало смыслю в этом, — призналась матушка. — Не так, как бы мне хотелось. Но мистер Копперфильд учил меня...

— Да много ли сам он смыслил в этом! — перебила мисс Бетси.

— А все же я думаю, что при моем старании и его терпении я выучилась бы, если б не это великое несчастье — его смерть...

Тут рыдания не дали матушке закончить фразу.

— Не надо! Не надо! — уговаривала мисс Бетси.

— Я аккуратно вела свою расходную книгу, и каждый вечер мы с мистером Копперфильдом подсчитывали расходы... — прорыдала матушка, снова впадая в отчаяние.

— Ну, довольно же! Довольно! Не надо плакать! — продолжала уговаривать мисс Бетси.

— И у нас из-за этого никогда не бывало ни малейшего недоразумения, разве только иногда мистер Копперфильд упрекал меня за то, что мои тройки похожи на пятерки, а хвостики моих семерок не отличить от хвостиков девяток, — заливаясь слезами, закончила матушка.

— Вы доведете себя таким образом до болезни, — заметила мисс Бетси, — и это, знаете, будет плохо и для вас и для моей крестницы. Полноте же! Не надо так!

Эти доводы заставили матушку несколько успокоиться, хотя, видимо, здесь еще большую роль сыграло все возраставшее недомогание. Наступило молчание, время от времени прерываемое лишь какими-то восклицаниями мисс Бетси, — она все продолжала сидеть у камина, поставив ноги на решетку.

Наконец тетушка снова заговорила:

— Я знаю, что Дэвид на свои деньги приобрел пожизненную ренту. А что, скажите, сделал он для вас?

— Мистер Коппефильд был так добр и заботлив, что часть доходов с этой ренты завещал мне, — с трудом ответила матушка.

— Сколько? — спросила мисс Бетси.

— Сто пять фунтов стерлингов² в год.

— Ну что ж! Он мог поступить и хуже! — заметила тетушка.

Это слово «хуже» соответствовало моменту. Матушке стало настолько хуже, что Пиготти, которая пришла с чайным прибором и свечами, сейчас же это бросилось в глаза. Конечно, мисс Бетси заметила бы это и раньше, будь в комнате посветлее. Тут Пиготти без дальних слов увела свою хозяйку наверх, в ее комнату. Затем она немедленно послала за сиделкой и доктором своего племянника, Хэма Пиготти, которого вот уже несколько дней держала в доме тайком от матушки на случай экстренной нужды.

Доктор и сиделка — эти «союзные державы» — явились почти одновременно. Они были очень удивлены при виде незнакомой леди величественного вида, которая, восседая у камина, со шляпкой, висевшей на левой руке, набивала себе уши ватой. Так как Пиготти ничего не знала о ней, а матушка ни слова не сказала, то появление незнакомки казалось таинственным. То обстоятельство, что у нее в кармане был целый склад ваты, которой она не переставала затыкать себе уши, нисколько не умаляло важности ее вида.

Доктор поднялся наверх, к матушке, а потом спустился. Предвидя, что ему, быть может, придется провести несколько часов в обществе незнакомой леди, он старался быть как можно вежливее и общительнее. Доктор был самым кротким, самым мягким человеком на свете. Входя и выходя из комнаты, он обычно проскальзывал боком, стремясь занять как можно меньше места. Ходил он тише и медленнее, чем тень в «Гамлете»³, и, быть может, еще бесшумнее, а говорил так же тихо, как и ходил.

Мистер Чиллип (так звали доктора), склонив голову набок, кротко поглядывал на тетушку, а затем, коснувшись своего левого уха, очевидно намекая на вату, с легким поклоном спросил:

— Какое-то местное раздражение, мэм?

— Что-о? — отозвалась тетушка, вытаскивая из одного уха, словно пробку, комок ваты.

Мистер Чиллип, как потом рассказывал матушке, до того был ошеломлен резкостью ее тона, что удивительно, каким образом он при этом не потерял самообладания и смог кротко повторить свой вопрос:

— Какое-то местное раздражение, мэм?

— Что за вздор! — оборвала его тетушка, снова закупоривая себе ухо.

После этого мистеру Чиллипу оставалось лишь сесть и беспомощно уставиться на тетушку, глядевшую в огонь камина. И так сидел он до тех пор, пока его не позвали наверх. Через какие-нибудь четверть часа он вернулся.

— Ну? — проговорила тетушка, вытаскивая вату из того уха, которое было ближе к доктору.

— Ну что же, мэм, — ответил мистер Чиллип, — мы... мы понемножку подвигаемся, мэм.

— Э-эх... — с полнейшим презрением вырвалось у тетушки, и она опять закупорила себе ухо.

Тут мистер Чиллип, по его словам, действительно был почти возмущен, и возмущен именно как врач. Тем не менее он около двух часов продолжал сидеть и смотреть на тетушку, глядевшую в огонь, пока его еще раз не позвали наверх. Через некоторое время он вернулся.

— Ну? — спросила тетушка, вытаскивая вату из того же уха.

— Ну что же, мэм, — ответил мистер Чиллип, — мы... мы понемножку подвигаемся, мэм.

— Э-эх... — протянула тетушка таким сердитым тоном, что мистер Чиллип не смог уже выносить дольше; он предпочел отправиться на лестницу и сидел там, в темноте, на сквозняке, до тех пор, пока за ним снова не прислали.

Хэм Пиготти, посещавший народную школу, большой знаток катехизиса, а потому свидетель, заслуживающий доверия, рассказывал на следующий день, как он имел несчастье час спустя после описанной сцены полуоткрыть дверь в гостиную. Здесь, очень взволнованная, расхаживала из угла в угол мисс Бетси. Заметив мальчика, она мгновенно набросилась на него, и он стал ее жертвой. Очевидно, вата недостаточно плотно закупоривала ее уши, и когда, сверху, из комнаты матушки, более явственно, доносилось топанье ног и голоса, мисс Бетси вымешала на злосчастном Хэме избыток своего волнения: она, держа за ворот куртки, безостановочно заставляла его маршировать из угла в угол, затыкала ему уши ватой, очевидно принимая их за свои собственные, и вообще всячески тормошила и тиранила его.

Все это отчасти было подтверждено его теткой, Пиготти, видевшей Хэма в половине первого ночи, сейчас же после его освобождения.

Она уверяла, что племянник ее был не менее красен, чем я.

Добрый доктор вообще не был злопамятен, а в такой момент и подавно. Как только мистер Чиллип, в свою очередь, освободился, он боком пробрался в гостиную, где была тетушка, и с самым добродушным видом сказал ей:

— Ну, мэм, я счастлив, что могу поздравить вас.

— С чем? — резко спросила тетушка.

Суровость мисс Бетси снова смутила мистера Чиллипа, и, чтобы как-нибудь смягчить ее, он, улыбаясь, поклонился.

— Господи, помилуй! Да что же творится с этим человеком! — с раздражением воскликнула тетушка. — Немой он, что ли?

— Успокойтесь, мэм, — проговорил мистер Чиллип самым сладким голосом, — теперь больше нет оснований тревожиться. Успокойтесь же!

Впоследствии считалось почти чудом, что тут тетушка не схватила доктора за шиворот и не вытрясла из него то, что он должен был сказать, а лишь ограничилась тем, что потрясла собственной головой, правда, так потрясла, что у бедняка душа ушла в пятки.

— Ну вот, мэм, я счастлив поздравить вас, — заговорил мистер Чиллип, собравшись с духом. — Все кончено, и благополучно кончено.

Все пять минут, или около этого, пока мистер Чиллип собирался и произносил эту речь, тетушка пристально разглядывала его.

— Как она чувствует себя? — спросила тетушка, скрестив руки; на левой из них продолжала болтаться шляпка.

— Надеюсь, мэм, что вскоре она будет себя чувствовать совсем хорошо, — ответил мистер Чиллип, — настолько хорошо, насколько может себя чувствовать юная мать при таких печальных семейных обстоятельствах. Теперь нет никаких препятствий к тому, чтобы вы с ней повидались. Это, быть может, даже принесет ей пользу.

— А «она»? Как «она»? — с суровым видом продолжала спрашивать тетушка.

Мистер Чиллип, склонив набок голову, посмотрел на тетушку, словно ласковая ручная птичка.

— Новорожденная здорова? — переспросила тетушка.

— Но я предполагал, мэм, что вы уже знаете: это мальчик.

Тетушка не проронила ни единого слова, но, схватив шляпу за ленты, хлопнула ею по голове мистера Чиллипа. Затем, напялив

смятую шляпку себе на голову, мисс Бетси вышла и исчезла, как разгневанная фея. Никогда уже больше она здесь не появлялась, да, никогда...

Я лежал в своей корзинке, матушка — на кровати, а Бетси Тротвуд-Копперфильд навеки осталась в той стране снов и теней, откуда я только что явился. Луна, светившая в окно нашей комнаты, заливала своим светом одновременно и жилища многих таких же, как я, новых пришельцев земли и холмик с прахом человека, без которого мне никогда бы не появиться на свет...

1 Бабушка Дэвида Копперфильда считала, что «Пиготти» — языческое имя, потому что слово «пэген» по-английски значит «язычник». (Здесь и далее прим. пер., если не указано иное.)

2 Фунт стерлингов — английская золотая монета; во времена, описываемые Диккенсом, равнялась приблизительно 10 рублям.

3 В трагедии Шекспира «Гамлет» датскому принцу Гамлету является тень его убитого отца и требует, чтобы Гамлет отомстил его убийцам.

Глава II. Я наблюдаю

Первое, что рисуется передо мной, когда я оглядываюсь на далекие дни моего раннего детства, это матушка с ее красивыми волосами и юным видом. Потом — Пиготти; она какая-то бесформенная, глаза у нее так темны, что бросают тень на лицо, а руки и щеки до того тверды и красны, что я удивляюсь, почему птицы не клюют их вместо яблок.

Мне кажется, что я припоминаю, как матушка и Пиготти на некотором расстоянии от меня присели или стоят на коленях, а я неуверенными шажками расхаживаю от одной к другой. Я как сейчас вижу перед глазами и даже ощущаю шероховатый от шитья, как терка, указательный палец Пиготти, когда она протягивает его мне. Что же еще вспоминается мне? Посмотрим... Словно сквозь туман виднеется наш дом... В нижнем этаже кухня Пиготти, выходящая на задний двор. Посредине этого двора высится на столбе голубятня без единого голубя, а в углу приютилась большая собачья конура без собаки; по двору бродит с угрожающим, свирепым видом множество кур, они мне кажутся огромными. Хорошо помню петуха, взобравшегося на столб прокричать свое «кукареку».

Когда я гляжу на него из кухонного окна, мне кажется, что он обращает на меня особенное внимание, и я дрожу от страха, до того он представляется мне лютым. А гуси, бродящие по ту сторону ограды! Когда я прохожу мимо, они гонятся за мной, вытянув свои длинные шеи. Вот эти гуси даже снятся мне, по ночам, как, вероятно, снятся львы тому, кто живет среди диких зверей.

Вот длинный коридор — какой бесконечный! Он ведет из кухни Пиготти к входным дверям. В этот коридор выходит темная кладовая, откуда, когда открывается дверь, несет затхлым запахом маринадов, мыла, перца, свечей и кофе. Мимо такого едва освещенного места вечером надо пробегать как можно скорее, ибо совершенно неизвестно, что может оказаться между всеми этими кадками, кувшинами и старыми ящиками от чая, когда там никого нет с тускло горящей лампочкой. Помню две гостинные: одну, в которой мы сидим вечерами — матушка, я и Пиготти, — ведь она, когда кончает работу и никого нет, наш неразлучный компаньон; другую — парадную гостиную, где мы проводим время по воскресеньям. Она более пышна,

но менее уютна и кажется мне унылой, вероятно, потому что Пиготти, рассказывая мне о похоронах отца, — уж не знаю когда, но, видимо, целую вечность тому назад, — упомянула о том, что в этой самой гостиной тогда собрались гости, все в черном. А однажды в ней же в воскресенье вечером матушка прочла нам с Пиготти, как воскрес из мертвых Лазарь. Я так был этим напуган, что матушка и Пиготти потом принуждены были вынуть меня из кровати, чтобы показать в окно залитое лунным светом тихое кладбище, где умершие спокойно лежат в своих могилах.

Ничего не знаю такого зеленого, как трава этого кладбища, ничего такого тенистого, как его деревья, не знаю большей тишины, чем та, которая царит вокруг его могил... По утрам, когда, стоя на коленках в своей кровати, я гляжу туда, я вижу пасущихся там овец, вижу, как красное солнышко заливает солнечные часы, и спрашиваю себя, рады ли эти часы, что они снова могут показывать время.

А вот наша скамья в церкви; какая у нее высокая спинка! Вблизи нас окно, в которое виден наш дом. В течение всей обедни Пиготти не перестает поглядывать в это окно, желая убедиться, не горит ли наш дом и не грабят ли его. Отвлекаясь сама таким образом от церковной службы, Пиготти, однако, бывает очень недовольна, когда я, взобравшись с ногами на скамью, тоже гляжу в окно. Хмурясь, она показывает мне, что я должен смотреть на священника. Но не могу же я без конца смотреть на него, я и без того хорошо знаю нашего священника, когда на нем нет этой белой штуки. Я боюсь даже, что он удивится, почему я так уставился на него, и, пожалуй, может еще прервать службу и спросить, что мне надо. А что тогда делать? Ужасно скверно зевать, но мне надо же чем-нибудь заняться. Смотрю на матушку — она делает вид, что не замечает меня. Смотрю на мальчика, сидящего в проходе между скамьями, — он строит мне рожи. Смотрю на солнечный луч, вырывающийся через портик в открытую дверь, и вижу в этой двери заблудшую овцу — не грешника, нет, а настоящую овцу; она стоит в раздумье, не войти ли ей в церковь. Чувствую, что если слишком долго буду смотреть на нее, то не удержусь и скажу что-нибудь громко. А тогда — что только будет со мной! Смотрю на мраморные надгробные доски, вделанные в церковные стены, и стараюсь думать о покойном мистере Баджерсе, прихожанине нашей церкви. Меня интересует вопрос, звали ли

к мистеру Баджерсу доктора Чиллипа, а если звали, то как это он не смог вылечить его. И раз он не в силах был спасти больного, то как, должно быть, ему неприятно теперь каждое воскресенье смотреть на эту надгробную надпись. С мистера Чиллипа в его праздничном галстуке я перевожу глаза на кафедру священника, и у меня вдруг мелькает мысль, каким прекрасным местом для игры могла бы быть эта самая кафедра, хотя бы, например, крепостью; я бы защищал ее, другой мальчик бросился бы по лестнице в атаку, а я тут швырнул бы ему в голову бархатную подушку с кистями... Мало-помалу глаза мои начинают смыкаться. Я слышу еще, как священник поет нагоняющий сон псалом. Духота страшная. Вскоре я ничего уже не сознаю — до тех пор, пока с шумом не сваливаюсь под скамью, откуда Пиготти вытаскивает меня, полумертвого от страха.

А теперь я вижу фасад нашего дома с настезь открытыми решетчатыми окнами спальни. В них так и льется сладкий душистый воздух, в саду на ветвях все еще раскачиваются старые, растрепанные грачиные гнезда. Но вот я в другом саду — в том, что позади двора, где пустая голубятня и пустая собачья конура. Это настоящий заповедник бабочек. Вокруг этого сада высокий забор; на калитке висит замок. Деревья гнутся под тяжестью плодов. Никогда, кажется, во всю свою жизнь потом я не видывал ни в одном саду такого множества чудесных спелых фруктов. Матушка рвет их и кладет в корзину, а я украдкой набиваю себе рот крыжовником, делая вид, что совершенно им не интересуюсь.

Но вот поднимается страшный ветер — и лета как не бывало. В зимние сумерки мы с матушкой играем и танцуем в гостиной... Запыхавшись, матушка бросается в кресло. Я вижу, как она закручивает на пальце свои светлые кудри, выпрямляет свою талию; никто не знает лучше моего, как она рада, что хорошо выглядит, как гордится тем, что такая красивая.

Все это, да еще то, что мы с матушкой оба немножко побаиваемся Пиготти и во многих случаях делаем так, как она хочет, — мои самые ранние впечатления детства.

Однажды вечером сидели мы с Пиготти одни у камина в гостиной. Я читал ей о крокодилах. Должно быть, читал я не очень-то понятно или она, бедняжка, не особенно внимательно слушала меня, но только, помнится, после моего чтения у нее осталось смутное впечатление, что

крокодилы — это род растений. Чтение утомило меня, и мне ужасно захотелось спать. Но так как мне было разрешено ждать возвращения матушки от соседней, то я скорее умер бы на своем посту, чем лег бы в кроватку. Я уже дошел до такого состояния сонливости, что Пиготти на моих глазах стала расти и делаться огромной. Тут, чтобы не закрывались глаза, я поддерживаю веки указательными пальцами и упорно гляжу на работающую Пиготти. Смотрю на кусочек восковой свечи, которым, она воцелит нитку. Весь изборожденный, он кажется совсем сморщенным. Таращу глаза на крошечный домик с соломенной крышей, где обитает нянин сантиметр, и на ее рабочую коробку с задвигающейся крышкой, на которой изображен собор Св. Павла с ярко-розовым куполом, и на медный наперсток на ее пальце, и, наконец, опять на самую Пиготти; она мне кажется прелестной. Сон так одолевает меня, что я чувствую: на миг закрою глаза, и тогда конец — засну.

— Пиготти, были ли вы когда-нибудь замужем? — вдруг спрашиваю я.

— Господь с вами! — восклицает Пиготти. — Почему только вам пришла в голову мысль о замужестве?

Она отвечает мне с таким оживлением, что сонливости моей как не бывало; Пиготти перестает штопать и, вытянув руку с иголкой во всю длину нитки, смотрит на меня.

— Так были вы когда-нибудь замужем, Пиготти? — переспрашиваю я. — Вы ведь очень красивая, не правда ли?

И я действительно считаю ее красавицей, хотя и в другом роде, чем матушку. В нашей парадной гостиной стоит красная бархатная скамеечка, на ней матушка нарисовала букет цветов. И вот мне кажется, что щеки Пиготти очень похожи на эту самую красную скамеечку. Правда, бархат мягкий, а лицо Пиготти шероховатое, но это не так уж важно...

— Я? Красавица, Дэви? Где уж там, дорогой мой! Но откуда все-таки взялась в вашей голове мысль о замужестве?

— Не знаю. А скажите, ведь нельзя же выйти замуж сразу больше чем за одного человека или можно? — допрашиваю я.

— Конечно нет, — тотчас решительно отвечает Пиготти.

— Но если выйти замуж, а человек этот умрет, разве тогда нельзя выйти за другого, Пиготти? — опять спрашиваю я.

— Можно, — отвечает Пиготти, — если пожелаете. Это — как кто хочет...

— А вы сами, Пиготти, что об этом думаете? — говорю я и смотрю на нее с таким же любопытством, с каким она перед тем глядела на меня.

— Я думаю, — говорит Пиготти после некоторого колебания, перестав на меня смотреть и снова взявшись за работу, — я думаю, Дэви, что я никогда не была замужем и не собираюсь выходить. Вот все, что я знаю на этот счет.

— Скажите, Пиготти, ведь вы же не сердитесь на меня, не правда ли? — спрашиваю я, помолчав минутку.

Я действительно решил, судя по краткости ее ответа, что она недовольна мной, но ошибся: отбросив чулок, который она штопала, Пиготти раскрывает свои объятия и крепко прижимает к себе мою курчавую голову. Когда Пиготти, при своей полноте, делает более или менее резкое движение, то пуговицы ее платья обыкновенно отлетают, а на этот раз, я хорошо помню, у нее отскочили две пуговицы на другой конец гостиной.

— Теперь почитайте-ка мне еще об этих самых крокиндах, — говорит Пиготти, до сих пор не одолевшая слова «крокодил». — Признаться, я не все о них разобрала.

Помнится, я не мог хорошенько понять, почему у Пиготти был такой странный вид и почему ей вдруг опять захотелось вернуться к крокиндам. Тем не менее мы снова принимаемся за этих чудовищ; я читаю с новым жаром, ибо от моей сонливости и следа не осталось. Чего мы тут только ни делали! И закапывали яйца крокодилов в песок, чтобы солнце выводило из них детенышей, и дразнили неповоротливых крокодилов, безнаказанно увиваясь вокруг них, и, подобно туземцам, бросались за ними в воду и всаживали им в пасть заостренные колья, — словом, мы как бы прошли сквозь целый крокиндий строй, по крайней мере я. Относительно же Пиготти у меня были сомнения — она то и дело по рассеянности тыкала в себя иглой, то в лицо, то в руку.

Уж мы исчерпали все о крокиндах и перешли к аллигаторам, когда у садовой калитки раздался звонок. Мы бросились отворять. У дверей стояла матушка — показалась она мне необыкновенно хорошенькой — и с ней джентльмен с прекрасными черными волосами

и бакенбардами, тот самый, который в прошлое воскресенье провожал нас из церкви.

Когда матушка у порога, нагнувшись, схватила меня на руки и расцеловала, джентльмен, помню, сказал:

— Да... малыш этот счастливее самого короля.

— Что это значит? — спросил я его, глядя через плечо матушки.

Он погладил меня по голове. Почему-то ни он сам, ни его низкий голос не понравились мне. Инстинктивно как-то мне было неприятно, что его рука, касаясь меня, дотрагивается в то же время до руки матушки, и я изо всех сил оттолкнул его.

— Ах, Дэви! — с упреком воскликнула матушка.

— Славный мальчик, — промолвил джентльмен. — Его ревнивая любовь несколько меня не удивляет.

Никогда до сих пор не видел я на щеках матушки такого чудесного румянца. Ласково пожурив меня за мою грубость, она прижала меня к себе и повернулась поблагодарить джентльмена за то, что он так любезно проводил ее до дому. Тут матушка подала ему руку, и, когда черный джентльмен пожимал ее, мне показалось, что она взглянула на меня.

— Ну что ж, мой милый мальчик, пожелаем друг другу спокойной ночи, — сказал джентльмен, наклоняясь и приближая голову — я это прекрасно видел — к крошечной матушкиной ручке в перчатке.

— Покойной ночи! — проговорил я.

— Давайте-ка хорошенько подружимся с вами! — смеясь, продолжал джентльмен. — Пожмемте друг другу руку!

Правая моя рука была в руке матушки, и потому я ему подал левую.

— Нет, это не та рука, Дэви, — со смехом заметил джентльмен.

Матушка протянула ему мою правую руку, но я, продолжая относиться к нему недоброжелательно, решил не подавать ему этой руки — и не подал. Упрямо протянул я ему левую руку, а он сердечно пожал ее, повторил, что я славный мальчик, и ушел. Словно сейчас вижу, как он, выходя из сада, еще раз оглядел нас своими зловещими черными глазами.

Пиготти, которая за все это время не проронила ни единого слова и даже не шевельнула пальцем, моментально задвинула засов на дверях, и мы все пошли в гостиную.

Матушка, вернувшись домой, обыкновенно усаживалась в кресло у камина. На этот раз она осталась в другом конце комнаты и начала что-то напевать.

— Надеюсь, вы хорошо провели вечер, мэм? — обратилась к ней Пиготти, стоя неподвижно, словно бочка, посередине комнаты, с подсвечником в руках.

— Благодарю вас, Пиготти, — весело ответила матушка, — я очень, очень довольна сегодняшним вечером.

— Новое лицо всегда вносит приятную перемену, — промолвила Пиготти.

— Действительно, очень приятную, — подтвердила матушка.

Пиготти продолжала неподвижно стоять посреди комнаты, матушка снова начала напевать, а я впал в какое-то полусонное состояние: слышал голоса, не понимая, однако, о чем идет речь. Очнувшись от этой неприятной полудремоты, я застал и Пиготти и матушку, обеих в слезах. Они горячо спорили.

— Такой человек, конечно уж, не пришелся бы по сердцу мистеру Копперфильду, готова поклясться в этом, — заявила Пиготти.

— Господи, боже мой, — плача, закричала матушка. — Вы просто сведете меня с ума! Виданное ли дело, чтобы бедная девушка терпела столько от своей собственной служанки!.. Но, однако, почему я зову себя девушкой? Разве я никогда не была замужем, Пиготти?

— Богу известно, мэм, что вы были замужем, — ответила Пиготти.

— Тогда как вы смеете... — начала матушка. — Но нет, вы знаете, что я хочу сказать — не как вы смеете, а как хватает у вас духу делать меня такой несчастной, говорить мне такие неприятные вещи, зная, что у меня вне этого дома нет ни единого друга, к которому я могла бы обратиться.

— Вот именно поэтому я и должна сказать, что это не годится, — ответила Пиготти. — Нет! Совсем не годится! Нет! Ни за что на свете так не нужно поступать! Нет!

Говоря это, Пиготти так размахивала подсвечником, что я думал, она в конце концов отшвырнет его от себя.

— Как можете вы так преувеличивать! — воскликнула матушка, пуще прежнего заливаясь слезами. — Как можете вы быть такой несправедливой! Почему, Пиготти, вы говорите так, словно это дело решенное, а между тем я еще и еще повторяю вам, злючка вы этакая,

что здесь ничего нет, кроме самой обыкновенной любезности. Вы говорите, что он восхищается мной? Что же мне делать, скажите на милость, если люди так глупы, что влюбляются в меня? Разве я виновата в этом? Что же мне делать, спрашиваю я вас? Быть может, вы хотели бы, чтобы я обрила себе волосы, вымазала лицо сажей или даже как-нибудь исковеркала его? Вероятно, этого вы хотели бы, Пиготти! Это, по-видимому, доставило бы вам удовольствие!

Мне показалось, что Пиготти была очень, очень задета взведенным на нее поклепом.

— Дорогой мой мальчик, мой родной Дэви! — воскликнула матушка, подойдя к креслу, в котором я полулежал, и горячо лаская меня. — Знаете, ведь намекают, будто я недостаточно люблю вас, мое бесценное сокровище, моя восхитительнейшая в свете крошка!

— Никто никогда и не думал вам делать таких намеков, — отозвалась Пиготти.

— Нет! Не говорите! Вы намекали на это, Пиготти, — волнуясь, ответила матушка. — Сами знаете, что намекали. Какой же другой вывод можно будет сделать из ваших слов, недобрая вы? А между тем вы так же хорошо знаете, как и я сама, что три месяца тому назад я из-за моего мальчика не купила себе нового зонтика, хотя мой зеленый совсем вылинял, а бахрама на нем вся оборвалась. Вам это прекрасно известно, Пиготти, вы не можете отрицать этого.

Она нежно нагнулась ко мне и, прижавшись своей щекой к моей, продолжала:

— Я плохая для вас мама, Дэви? Правда? Такая нехорошая, эгоистичная, жестокая, гадкая мама?.. Скажите, скажите, что это так, родной мой мальчик, и Пиготти будет любить вас, а любовь Пиготти гораздо ценнее моей, Дэви. Я ведь совсем не люблю вас? Не так ли?

После этого мы все разревелись — я, кажется, громче всех, — и плакали мы все несомненно искренне. Сердце мое надрывалось от горя, и боюсь, что в первом порыве обиды за мать я обозвал Пиготти «скотиной». Помню, как была огорчена славная девушка, и, должно быть, в это время у нее от волнения отлетели все до одной пуговицы. Когда она примирилась с матушкой и, желая заключить мир со мной, опустилась у моего кресла на колени, пуговицы градом посыпались с нее.

Мы пошли спать в чрезвычайно подавленном состоянии духа. Рыдания долго не давали мне заснуть, и когда, задыхаясь от слез, я поднялся в кровати, то увидел, что матушка, согнувшись, сидит на моей постели. Она обняла меня, и я, прижавшись к ней, крепко заснул.

Не могу теперь припомнить, когда опять я увидел черного джентльмена, в следующее ли воскресенье, или позже. Но это было в церкви, а потом он пошел провожать нас. Помнится, он зашел к нам поглядеть на роскошную герань, которая стояла на окне в гостиной. Мне показалось, что он не обратил особенного внимания на эту герань, но, уходя, попросил матушку дать ему от нее цветок. Она предложила ему выбрать по своему вкусу, но он не захотел этого сделать, не знаю уж почему, и матушка сама сорвала цветок герани и подала ему. Он при этом уверял, что никогда, никогда не расстанется с ним. А я подумал про себя, что он совершенный дурак, раз не знает, что цветок этот через несколько дней весь осыплется.

Пиготти реже, чем бывало, проводит с нами время вечерами. Матушка к ней очень внимательна, мне кажется, даже внимательнее, чем раньше, и мы все трое в большой дружбе, но все-таки что-то изменилось: нам уж не так хорошо, не так уютно вместе, как прежде. Порой мне кажется, что Пиготти как бы недовольна матушкой, что та наряжается в свои красивые платья и так часто бывает у соседей. Но я хорошенько не разбираюсь в этом.

Мало-помалу я привыкаю видеть у нас джентльмена с черными бакенбардами. Он по-прежнему мне не нравится, и то же неприятное, ревнивое чувство к нему живет во мне. Однажды осенним утром мы были с матушкой в палисаднике, когда мистер Мордстон — я уже знал тогда его имя — появился верхом. Он остановил свою лошадь, чтобы поздороваться с матушкой, и сказал, что едет в Лоустофт повидаться с друзьями, прибывшими туда на яхте. Тут же веселым голосом он предложил взять меня с собой, если только мне улыбается проехаться верхом, сидя впереди него на седле. День был чудесный, даже конь храпел и бил копытами о землю, как бы предвкушая прелесть поездки, и мне очень захотелось прокатиться.

Матушка отправила меня наверх, к Пиготти, приодеться, а в это время мистер Мордстон спрыгнул с лошади и, держа в руке поводья, стал медленно прогуливаться вдоль наружной стороны изгороди из шиповника. Беседуя с ним, матушка так же медленно ходила вдоль

внутренней стороны этой изгороди. Помню, как мы с Пиготти поглядывали на них из маленького окошка моей комнаты. Помню, как во время этой прогулки они близко наклонялись друг к другу, особенно внимательно рассматривая шиповник, и как Пиготти, бывшая до этого в ангельски добродушном настроении, вдруг почему-то разозлилась и стала пребольно драть мне голову щеткой.

Вскоре мы с мистером Мордстоном уж были на лошади и рысцой пробирались по зеленой травке вдоль дороги. Он придерживал меня рукой, а я хотя вообще и не был беспокойным ребенком, но тут почему-то все время поворачивался и заглядывал ему в лицо. И вот, несмотря на его непроницаемые черные неприятные глаза, несмотря на свою антипатию к нему, я все-таки не мог не сознаться, что он очень красивый мужчина. Не сомневался я также в том, что моя дорогая бедняжка мамочка тоже считает его красавцем.

Мы приехали в гостиницу, стоящую у морского берега, и там в отдельной комнате нашли двух джентльменов, курящих сигары. Одеты в широкие грубые куртки, они лежали на стульях, причем каждый из них занимал по крайней мере четыре стула. В углу были свалены куртки, морские плащи и флаг. Все это было связано вместе.

Когда мы вошли, они, как-то небрежно поднявшись, воскликнули:

— Алло! Мордстон! А мы уже считали вас мертвым!

— Пока нет! — отозвался мистер Мордстон.

— А это что за юнец? — спросил один из господ, притягивая меня к себе.

— Это Дэви, — ответил Мордстон.

— Дэви, а дальше?.. Джонс?

— Копперфильд, — добавил мистер Мордсон.

— Вот как! Обуза очаровательной миссис Копперфильд, этой хорошенькой вдовушки! — воскликнул один из джентльменов.

— Квиньон! — остановил его мистер Мордстон. — Пожалуйста, будьте осторожнее: кое у кого имеется смекалка.

— У кого же? — смеясь, спросил джентльмен. Заинтересованный, я поднял голову.

— У Брукса из Шеффилда, — пояснил мистер Мордстон.

У меня отлегло от сердца, ибо сперва я подумал, что речь шла обо мне.

Очевидно, этот Брукс из Шеффилда был большой комик, ибо при упоминании его имени оба джентльмена громко расхохотались, и мистер Мордстон тоже не отставал от них.

Нахохотавшись вволю, джентльмен, которого звали Квиньон, спросил:

— А скажите, какого мнения Брукс из Шеффилда о предполагаемой сделке?

— Думаю, пока вряд ли он разбирается в этом, — ответил мистер Мордстон, — но вообще, кажется, настроен недоброжелательно.

Вслед за этим раздался новый взрыв смеха, и мистер Квиньон заявил, что он позвонит и велит подать вишневой наливки, чтобы выпить за здоровье Брукса. Он это сейчас же и сделал; а когда наливка появилась, налил мне немного, дал к этому сухарик, и прежде чем я начал пить, он встал и возгласил:

— Да будет пусто Бруксу из Шеффилда!

Тост этот был встречен такими аплодисментами, таким гомерическим хохотом, что даже и я расхохотался. А это заставило всех еще больше смеяться. Словом, нам всем было очень весело. Потом мы отправились на морской берег и, усевшись там на траве, стали смотреть в подозрную трубу. Я, по правде сказать, когда мне давали смотреть в подозрную трубу, ровно ничего не видел, но уверял, что вижу все прекрасно. После этого мы вернулись в гостиницу к раннему обеду. Все время, пока мы гуляли, оба джентльмена непрерывно курили: по-видимому, судя по запаху их курток, они не переставали это делать с момента, когда эти куртки были принесены им от портного. Не забыть бы сказать, что мы побывали и на яхте этих господ. Все трое мужчин спустились в каюту и возились там с какими-то бумагами. С палубы я видел, как они были погружены в эту работу.

В течение всего дня я замечал, что мистер Мордстон держит себя гораздо степеннее и серьезнее, чем оба его приятеля. Те были очень беспечны и веселы; то и дело они подшучивали друг над другом, но редко когда над ним.

В сумерки мы отправились домой. Вечер был прекрасный, и матушка и мистер Мордстон опять прогуливались вдоль изгороди из шиповника, а меня в это время отослали домой, пить чай. Когда он уехал, матушка стала спрашивать меня, как провел я день, что

делали, что говорили. Я ей рассказал, как они отозвались о ней, и она смеялась и уверяла, что джентльмены эти бесстыдники, болтающие всякий вздор, но я видел, что мамочка довольна. Я знал это тогда так же хорошо, как знаю это теперь. Кстати, я спросил матушку, знакома ли она с мистером Бруксом из Шеффилда; она ответила «нет», но прибавила, что это, очевидно, какой-нибудь фабрикант ножей и вилок.

Поговорив, я пошел спать, а матушка пришла пожелать мне покойной ночи. Она шаловливо опустилась на колени у моей кровати, опершись подбородком на сложенные руки, и со смехом спросила:

— Что они там про меня говорили, Дэви? Скажите еще раз. Мне как-то все не верится.

— «Очаровательная...» — начал было я.

Матушка закрыла мне рот рукой, чтобы не дать мне продолжать.

— Наверно, не «очаровательная» было сказано, — проговорила она смеясь, — не так, Дэви, выразились они. Знаю, что не так!

— Да так же: «очаровательная миссис Копперфильд», — настаивал я. — А потом еще сказали «хорошенькая»...

— Нет, нет! Они вовсе не называли меня хорошенькой! Неправда! — воскликнула матушка, снова закрывая мне рот рукой.

— Да, да! Так и сказали: «хорошенькая вдовушка».

— Вот глупые бесстыдники! — воскликнула матушка, смеясь и закрывая себе лицо руками. — Какие смешные люди, правда?.. Дэви, дорогой...

— Что, мамочка?

— Знаете, не говорите Пиготти — она, пожалуй, еще на них рассердится. Я сама ужасно сердита на них и предпочла бы, чтобы Пиготти не знала об их глупой болтовне...

Я, конечно, обещал. Тут мы бесчисленное количество раз поцеловались, и я крепко заснул.

Прошло так много времени, что теперь мне кажется, будто на следующий же день Пиготти сделала мне то удивительное предложение, о котором я сейчас расскажу; на самом же деле, наверное, это было месяца два спустя.

Однажды вечером (матушка и на этот раз была в гостях) мы с Пиготти по-прежнему сидели в гостиной, в компании с чулками, сантиметром, кусочком воска, рабочей коробкой с собором Св. Павла на крышке и книжкой о крокодилах. Вдруг Пиготти несколько раз

взглянула на меня, открывая рот, как бы собираясь что-то сказать. Я решил, что она зевает, а то, пожалуй, это даже испугало бы меня. Наконец Пиготти проговорила каким-то задабривающим тоном:

— Что сказали бы вы, Дэви, если б я предложила вам поехать со мной недельки на две к моему брату в Ярмут? Ведь, правда, это было бы очень весело?

— А брат ваш, Пиготти, приятный человек? — предусмотрительно спросил я.

— О! Какой еще приятный! — воскликнула Пиготти, восторженно поднимая руки кверху. — Потом, Дэви, там есть и море, и корабли, и лодки, и рыбаки, и берег, и Хэм, который будет играть с вами. (Пиготти имела в виду своего племянника Хэма, о котором я уже упоминал.)

При перечне стольких наслаждений я весь просиял и ответил, что, конечно, это было бы огромным удовольствием, но что скажет мама?

— Да я готова держать пари на целую гинею⁴, что она нас отпустит, — сказала Пиготти, пристально глядя на меня. — Если хотите, я спрошу ее, как только она вернется домой.

— А как же она будет здесь одна, без нас? — сказал я глубокомысленно, положив на стол свои маленькие локотки, чтобы обсудить это дело. — Не может же она жить одна?

Тут Пиготти принялась отыскивать такие маленькие дырочки на пятке чулка, которые, пожалуй, и не стоило бы штопать.

— Говорю вам, Пиготти, ведь не может же мама остаться одна! — настаивал я.

— Господь с вами! — воскликнула Пиготти, наконец, глядя на меня. — Разве вы не знаете? Мама собирается недельки две погостить у миссис Грейпер. Там, говорит, будет большое общество.

— О! Если это так, то я с радостью готов ехать, — заявил я и с огромным нетерпением стал ждать возвращения матушки от миссис Грейпер (она опять была там), горя нетерпением выяснить, сможем ли мы с Пиготти осуществить наши великие проекты. Матушка далеко не была так удивлена, как я ожидал, и сейчас же дала свое согласие на нашу поездку.

В тот же вечер переговорили обо всем и условились, что и питание мое и помещение у брата Пиготти будут оплачиваться.

Наступил день нашего отъезда.

В глубине души я, признаться, боялся, чтобы землетрясение, извержение вулкана или какие-либо другие подобные стихийные бедствия не помешали нашей поездке. Мы должны были ехать в извозчичьей повозке, которая отправлялась утром, после завтрака. Помнится, чего только ни дал бы я тогда, лишь бы мне позволили одеться с вечера и лечь в постель в шапке и сапогах.

Хотя я как будто и с легким сердцем рассказываю обо всем этом, но мне даже теперь тяжело думать о том, как мне хотелось покинуть родной дом, где я был так счастлив. Уж очень далек был я от мысли, что многое, многое покидаю я здесь навеки!..

Мне радостно вспомнить, что, когда повозка была у ворот и матушка целовала меня, любовь и благодарное чувство к ней и к родному дому, с которым я никогда до этого момента не расставался, заставили меня расплакаться. Радостно вспомнить, что матушка также плакала, и я чувствовал, как ее сердце взволнованно бьется подле моего. Радостно вспомнить, что, когда повозка тронулась, матушка выбежала из ворот и остановила извозчика, чтобы еще раз проститься со мной. Как горячо, с какой любовью она тут расцеловала меня!

Проводив нас, матушка одиноко стояла на дороге, когда подошел мистер Мордстон и стал, как мне показалось, упрекать ее за то, что она так расчувствовалась. Высунувшись из повозки, я смотрел и думал: какое, спрашивается, ему до всего этого дело? Пиготти, видимо, это нравилось не больше моего. Некоторое время я сидел молча, уставившись на Пиготти, и думал, что, если б она вдруг взяла, да и потеряла меня в каком-нибудь лесу, как «Мальчика с пальчик»⁵, смог бы я найти дорогу домой по посеянным ею пуговицам?

⁴ Гинейя — английская, затем британская золотая монета, использовавшаяся в 1663—1813 годах.

⁵ Сказка Шарля Перро (1628—1703). (Прим. ред.)

Глава III. Перемена

Лошадь извозчика была, по-видимому, самым ленивым животным на свете. Опустив голову, она медленно тащилась по дороге с таким видом, как будто ей нравилось заставлять ждать тех людей, которым она везла вещи. Порой мне казалось, что она сама громко посмеивается над этим, но извозчик уверял, что ее просто мучит кашель.

Извозчик, так же как и лошадь, имел обыкновение держать голову опущенной. Он правил словно в полусне, покачиваясь взад и вперед и положив локти на колени. Я сказал «правил», но на самом деле я убежден, что повозка точно так же добралась бы до Ярмута и без него, ибо все делала сама лошадь. Извозчик совершенно не разговаривал, а только посвистывал.

У Пиготти на коленях стояла корзина, до того набитая припасами, что нам, наверное, хватило бы их до самого Лондона. Оба мы с Пиготти ели и спали очень много. Засыпая, она упиралась подбородком в ручку корзины, которую ни на секунду не выпускала из рук. Никогда не поверил бы я, если б сам не слышал, что беззащитная женщина может храпеть так громко, как она.

Мы столько блуждали по проселочным дорогам, то заезжая на постоялый двор сдавать деревянную кровать, то останавливаясь где-либо еще, что я ужасно устал и был очень рад, когда увидел Ярмут. Он, вероятно, был расположен на каком-то болотистом, сыром месте. Такое, по крайней мере, я вынес впечатление, глядя на мрачные пустыри, лежащие за рекой. Тут я, помню, удивился, что на земле, если она и вправду так кругла, как утверждает моя география, могут быть такие вот плоские места; но я сейчас же объяснил себе это тем, что Ярмут, должно быть, находится у одного из полюсов. Когда мы въехали в город, где нас охватил запах рыбы, смолы, пакли, дегтя, и увидели снующих взад и вперед матросов и гроыхающие по мостовой телеги, я почувствовал, как был несправедлив к такому кипящему жизнью месту. Помнится, что я поспешил высказать это Пиготти, и она, выслушав с самодовольным видом мои восторженные отзывы, заявила: «Всем известно (думаю — только тем, кто имел счастье сам родиться ярмутской “селедкой”), что это красивейшее место в мире».

— А вот и мой Хэм! — воскликнула Пиготти. — Как он вырос! Просто не узнать его!

Действительно, ее племянник ждал нас у дверей трактира и сейчас же, как старый знакомый, справился о моем здоровье. Мне сначала показалось, что я знаю его не так хорошо, как он меня, по той простой причине, что с момента моего рождения он никогда у нас в доме не появлялся. Но мы скоро подружились с ним, ибо он сейчас же взвалил меня себе на спину и так понес домой. Он был плотный, крепкий, широкоплечий мальч, футов шести ростом, но лицо у него было глуповато улыбающееся, мальчишеское, а светлые курчавые волосы делали его похожим на барашка. На нем была парусиновая куртка и такие плотные штаны, что они могли бы стоять сами по себе, без всяких ног. То, что он носил на голове, собственно говоря, нельзя было назвать шапкой, а скорее походило на просмоленную крышу старой постройки.

Хэм нес меня на спине, а один из наших сундучков — под мышкой, Пиготти же тащила другой сундучок. Шли мы переулками, усеянными щепками и кучками песка, шли мимо газовых заводов, канатных фабрик, такелажных⁶, конопатных, шлюпочных мастерских и всяких других подобных учреждений, пока, наконец, не добрались до мрачного пустыря, который я уже видел издали. Тут Хэм сказал:

— А вот и наш дом, Дэви!

Я посмотрел во все стороны, но нигде — ни на пустыре, ни дальше у моря, ни у реки — не заметил никакого дома. Стояла только неподалеку, на сухом песке, черная баржа или какое-то другое, отслужившее свой век судно. Оттуда торчала железная труба, и из нее как-то уютно шел дым. Ничего другого, напоминающего человеческое жилье, видно не было.

— Скажите, вот это, похожее на корабль, не ваш ли дом? — спросил я.

— Оно самое и есть, — ответил Хэм.

Если бы это был дворец Алладина или волшебное яйцо арабской птицы Рок, то, право, я не был бы более очарован, чем теперь, при мысли, что буду жить в такой барже. В одном боку этого судна была вырезана прехорошенькая дверь; имелись тут и крыша и маленькие окошечки, но самым восхитительным было то, что судно это — настоящее, ходившее сотни раз по морю и никогда

не предназначавшееся для жилья человека на суше. Вот именно это особенно меня в нем и прельщало.

Внутри царил чистота и порядок. Здесь были и стол, и голландские часы, и комод. На комод стоял поднос, где была нарисована леди с зонтиком, прогуливающаяся с ребенком воинственного вида, который катил обруч. Поднос этот, помню, поддерживала Библия, иначе, сдвинувшись с места, он мог бы перебить чайную посуду, расставленную вокруг него. На стенах висело несколько аляповато раскрашенных картин из Священного Писания, в рамках и под стеклом. Над небольшим камином была картина, изображавшая бриг² «Сара Джен», построенный в Зундерланде. В картину была вделана миниатюрная деревянная корма. Это художественное произведение, где живопись сочеталась со столярным мастерством, тогда казалось мне самой ценной вещью в мире. В балках потолка было ввинчено несколько крючков, назначения которых я никак не мог постигнуть. Здесь же стояли разные ящики, заменявшие стулья.

Все это я заметил с первого взгляда, мне думается, благодаря присущей детям наблюдательности. Затем Пиготти открыла маленькую дверь и показала мне мою комнатку. Это была самая совершенная и самая прелестная комнатка, какую только можно себе представить в корме старой баржи. Здесь имелось окошечко, сделанное из того отверстия, где когда-то помещался руль. На стене, низко, по моему росту, висело зеркальце в рамке из ракушек. Тут же стояла кровать, также как раз по мне, а на столе в синей кружке красовались водяные растения. Стены были выбелены чисто-начисто, а одеяло из разноцветных лоскутков своей пестротой слепило мне глаза. В этом очаровательном доме я особенно обратил внимание на господствовавший в нем рыбный запах. Был он до того силен, что, когда я вынимал носовой платок, чтобы утереть нос, от него несло так, словно в нем только что был завернут омар. Когда это свое наблюдение я сообщил Пиготти, она сказала мне, что брат ее занимается продажей омаров, крабов и речных раков. Потом я сам видел в маленькой деревянной пристройке, где хранились горшки и котлы, множество этих разнородных раков, удивительно перепутанных между собой и никогда не выпускавших из своих клешней того, что им удавалось захватить.

Нас встретила очень вежливая женщина в белом переднике; сидя на спине Хэма, я видел, как она по крайней мере за четверть мили начала кланяться и приседать. Так же приветствовала нас и красавица девочка (по крайней мере, такой она мне показалась) с голубыми бусами на шее. Я хотел было поцеловать ее, но она убежала и спряталась.

Вскоре после того, как мы роскошно пообедали отварной камбалой с вареным картофелем и топленым маслом (а для меня специально еще была приготовлена котлета), появился волосатый мужчина с очень добродушным лицом. Так как он назвал Пиготти «девочкой» и крепко поцеловал ее в щеку, я, зная строгость нравов Пиготти, решил, что это ее брат. Так оно и оказалось; мне представили его как мистера Пиготти, хозяина дома.

— Рад видеть вас, сэр, — приветствовал меня мистер Пиготти. — Вы, пожалуй, найдете нас неотесанными, но вам мы всегда будем рады.

Я поблагодарил его и сказал, что, наверное, буду счастлив в этом восхитительном месте.

— А как здоровье вашей мамы, сэр? — спросил мистер Пиготти. — Что, вы оставили ее веселой?

Я ответил, что матушка была в настроении очень веселом и приказала ему кланяться, — по правде сказать, это была святая ложь.

— Премного, конечно, ей благодарен, — промолвил мистер Пиготти. — Коли вам не надоест у нас за две недели вот с ними (он указал на мою Пиготти, а затем на Хэма и на маленькую Эмми), то это будет для нас большая честь.

Выполнив так гостеприимно долг хозяина, мистер Пиготти ушел мыться к котлу с горячей водой, ибо — пояснил он — «холодная вода никогда не смыла бы моей грязи».

Вскоре он вернулся в гораздо более благообразном виде, но страшно красный, и мне невольно пришло на ум, что у его лица есть то общее с омарами, крабами и раками, что все они, попадая в горячую воду очень черными, выходят из нее очень красными.

После чая, когда заперли дверь и стало так уютно, а на дворе было сыро и холодно, баржа показалась мне самым очаровательным уголком на свете. Слышать, как завывает над морем ветер, знать, что туман стелется по заброшенному пустырю, и в это время смотреть в огонь и думать, что кругом нет никакого жилья, кроме нашего, да и то —

баржа, — в этом было нечто сказочное. Крошка Эмми, преодолев свою застенчивость, сидела рядом со мной на самом низком и самом маленьком из ящичков — он как раз входил в уголок у камина, и на нем было достаточно места для нас обоих.

Миссис Пиготти, в белом переднике, расположилась со своим вязаньем по другую сторону камина. Моя Пиготти шила, и она, и ее рабочий ящик с изображением собора Св. Павла, и огарок восковой свечи — все они чувствовали себя здесь так, как будто никогда не знали иной кровли.

Хэм, успевший уже дать мне урок карточной игры «империал», теперь старался припомнить какое-то гадание, причем каждый раз, когда он переворачивал засаленные карты, на них оставался еще новый след от его пропитанных рыбой пальцев.

Мистер Пиготти спокойно курил свою трубку, тут я почувствовал, что как раз настало время для задушевной беседы.

— Мистер Пиготти... — начал я.

— Что угодно, сэр? — отозвался он.

— Скажите, не потому ли вы назвали своего сына Хэмом, что живете вы как будто в ковчеге?⁸

По-видимому, идея эта показалась мистеру Пиготти глубокомысленной, но он ответил:

— Нет, сэр. Я вовсе никогда не давал ему никакого имени.

— А кто же тогда дал ему это имя? — спросил я.

— Ну, разумеется, его отец, сэр!

— А я думал, что вы его отец...

— Нет, отцом его был мой брат Джо, — пояснил мистер Пиготти.

— Что же, он умер, мистер Пиготти? — спросил я, почтительно помолчав.

— Утонул, — проговорил мистер Пиготти.

Я был очень удивлен, узнав, что мистер Пиготти не отец Хэма, и сейчас же подумал, не заблуждаюсь ли я также относительно родства его с другими здесь присутствующими лицами. Любопытство мое было так возбуждено, что я решил это выяснить.

— А маленькая Эмми? — спросил я, взглянув на нее. — Она ваша дочь, мистер Пиготти, не правда ли?

— Нет, сэр, мой зять Том был ее отцом.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ